

А. П. Чехов и его „мужики“.

«Волжский вестник» 1897, 6 июня, № 137

Наша журналистика критика занята в настоящее время иными иными произведениями г. Чехова — „Мужики“, помещенным в апрельской книжке „Русской Мысли“. Эта, безспорно одна из лучших вещей, написанных нашим даровитым беллетристом, оставляет за собой далеко все, что преподносится ныне читающей публике под видом беллетристики объемистых, но мало содержательных романов плодотворных беллетристов среди целой тучи декадентских «поскогорий» и «низменностей», среди всех этих „людей разная безумия“, как выражается г. Энгельгардт, — г. Чехов со своим „мужиком“ является прекрасным оазисом, в котором можно найти покой и насладиться читателю, бродящему по безлюдным пустыням современной беллетристики. Каждое произведение г. Чехова обращает на себя всеобщее внимание, вызывает массу разнообразных толков и мыслей. Не гонимая ни за эффективными сценами, ни за модными словами и разговорами, г. Чехов спокойно, с отблеском какой-то меланхолической прелесть, вдруг нарисует перед вами выходящую из самых глубин жизни картину, каждый штрих которой, каждая черточка живо напоминает вам что-то очень знакомое, очень близкое, такое простое и бытовое. Вы узнаете из этой картины много лиц, которых вы видели и слышали постоянно, чуть не ежедневно, вы как будто слышите их только что оконченные речи, видите их жесты, улыбки; вы узнаете знакомую обстановку, напоминающую или вашу собственную или лиц, с которыми вам приходилось сталкиваться и почему-то врезавшуюся в вашу память, вы узнаете, наконец, отчасти самого себя, с приятным удивлением сядя, как автор раскрывает перед вами психический мир своего героя, познавать все ежедневное содержание этого мира, всю мыслительную работу человека, занятого своей ежедневной бытностью. Все это так и встает перед вами, когда вы вглядываетесь в нарисованную г. Чеховым картину.

Г. Чехов именно художник бытничества, будничной жизни. Переберите большинство его рассказов, выходящих обыкновенно под какими-нибудь скромными названиями, чаще всего „просто рассказы“ или „Повести и рассказы“, почти в каждом вы найдете что-нибудь простое, самый обыкновенный незамысловатый сюжет, самое будничное явление, с которым вы встречались быть может не один раз, но на которое вы тем не менее не обращали никакого внимания и только теперь, когда г. Чехов тоже как будто измученно нарисовал его, вы узнали, узнали и заинтересовались им: вы заметили, заметили аналогичные факты и явления и... ваша голова заработала. А художник может тем уже заняться другим явлением, рисует другой тип, другую

общественную обстановку, рисует своего рода ваши другие виды. То перед вами является большой татарин, русский такой по роду и так, заброшенный в ссылку в Сибирь и др. и др. и др. на непривычную чужбину, то перед вами чиха, томительно прозябший человек великого праздника, то бедный студент духовной академии, в субботу повзвизгивающий двумя простыми женщинами о страданиях Христа, то бедный в тоске по умершему сыну извозчик, то влюбленный и жизнерадостный учитель гимназии, автор прискучивающийся своим счастьем, то бухгалтер, которая „женится“ и т. д. и т. д. — целая вереница странных маленьких бытовых физиономий, гуляющих, пьющих, кушающих, тоскующих, резонерствующих, в тему о своей суетливой полусознательной жизни, а среди них вдруг вырисовывается умное лицо какого-нибудь выдающегося профессора или доктора, погруженного в дело судьбы в смуте общественной жизни, но не славящегося с ней, а отгораживающего себя своей особенной психической мирок, в котором он живет наедине с собственной мыслью. И г. Чехов одинаково безразлично, одинаково спокойно, говорит вам и о стогах большого татарина и о философских размышлениях старого профессора и об безысходном горе какого-нибудь ткаря или извозчика. Сам он не резонирует, не возмущается, ничем не проявляет своей собственной личности. Он как бы блуждает своим художественным оком по разрастающемуся перед ним житейскому полумраку, падает его глаза на большого татарина, и он принимается рисовать его, рисует тщательно и мастерски, копаясь в самых укромных уголках его души, вычерчивая самыми мѣткими штрихами его костюм, всю его обстановку, и, когда вы всматриваетесь в это произведение, вам так и кажется, что вы действительно видели где-то, этого татарина, и что он именно и говорил: «мала-мала кушать надо», вы видели его именно таким большим, тоскующим, заброшенным... Но затѣм художник опускает свою кисть, «оставит точку», а вы остаетесь в замешательстве. «Почему, зачѣм, — думаете вы — произошло все это именно так, как я слышу гонимый в стужу и холод, как я вижу двигающуюся мала-мала, который называется жизнью? Г-ну Чехову как будто вѣтъ до этого загадочного дѣла. Он нарисовал свою картину, сбавил все, что мог, чтобы картина вышла правдивая и изящная, и затѣм он...»

Не станем вдаваться далее в объяснения указанной черты чеховского таланта. Предоставим критикѣ разбирать причины, послужившие ли это отъ самостоятельности дарования, отъ условий или отъ чуждой обстановки, отъ атмосферы или отъ чего другого. Отъ себя мы замѣтим лишь, что въ этом г-н Чехов, как о «жизни безразличной» или о том, что современная русская жизнь не находит

но оформилась, чтобы можно было найти впопыхах сложившиеся, вымученные типы — всё подобны суждения не кажутся нам вчерашними, а всею вчерашней.

Обратимся однако к «мужикам».

Перед нами самая будничная из будничных историй, рассказанная почти протокольным тоном, сильно напоминающим «протоколизм» небольших рассказов Мопасса на. В один, как говорится, «прекрасный» день лакей московской гостиницы Николай Чиклабьев нес встачку с горошком и вдруг потерял равновесие и упал. Его служба пришла к концу: он заболел очень серьезно и, протратив нажитые гроши, решил переселиться в родную деревню вместе с семьей: женой и дочкой. Деревня принимает Николая очень нерадушно: голод, пьянство, брань, бессмысленное мыканье в убогом хозяйстве и нужда, нужда и нужда. В конце концов, промаявшись около года, Николай умирает, а жена его идет опять в Москву вместе с дочкой, подбираясь Христовым именем. Вот вам весь, до нельзя простой и несложный сюжет рассказа. Жизнь в деревне также не заключается в себя ничего особенного. Г. Чехов просто изображает день или, вернее, два дня деревенской жизни: деревенский будни и деревенский праздник. Но эти два дня, как две капли воды, похожи на два дня, следующие за ними и два дня, истекшие до них, — словом, эти два дня — типичные дни, в них воплещ на обыденная деревенская жизнь с ее житейскими передрыганиями. Г. Чехов, не обрисовав нам всей деревни, *всплыв* ее словесно в элементы, *всплыв* мужиков, — он ограничился одним типом деревенской семьи, тем типом, который характеризуется почти полной потерей связи с землей, крайней хозяйственной неустойчивостью, приближающей его к полному пролетарию, и соответствующим этому «переходному состоянию» крушением старого «гармонического-целостного» земледельческого мирозерцания. То, что привык соединять с именем «мужик» читатель, воспитанный на народнической бездариности с ее подслащиванием и «обсахариванием» (по выражению г. М. Протопопова) этого мужика, — вот эти «власть земли», «стойкость» земледельческих идеалов, общинные инстинкты — все это проявляется в семье Чиклабьевых большею частью в отрицательных или, по крайней мере, в уродливых формах.

Вот напр., одна из первых сцен, которыми встретила больного Николая его родная семья.

У Марии жены брата Кирьяка было шестеро детей, у Оеклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, — двое, и когда Николай, войдя в избу, увидал все семейство, все эти больные и маленькие тела, которые шевелились на палатах, в люльках и во всех углах, и когда увидал, с какою жаждою старики и бабы жли черной хлб, молча его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал...

— А где брат Кирьяк? спросил он, когда поговорились.

— У купца в станице...

— В лесу. Мужик бы ничего, да заливаешь шибко.

— Недебычак! проговорила старуха слезливо. Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, — греха нечего таить, знает в трактир дорогу. Прогнивалась Царица небесная...

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и сбитый, но хлб и посух сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный — все о нужде да болваньях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный, пьяный крик:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьяк идет, сказал старик. — Легко на поминах. Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из под земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невестка, поблдилась, прижавшись к печи, и как-то страшно было видеть на лицах у этой шилопопачей, сильной, неграмотной женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушной, вдруг громко заплакала.

— А ты чего, холера? крикнула на нее Оекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. — Небось, не убьешь!

— Ма-арья! раздались крики у самой двери.

— Вступитесь Христа ради, родименькие, залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду. — Вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кешель, и в избу вошел высокий, чернородый мужик в зимней шапке... Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издавала ни звука, ошеломленная ударом и только присвист, и тотчас у нее из носа пошла кровь...

Одной этой сцены достаточно, чтобы видеть, где мы находимся. Мы попали в семью наших деревенских «чулей цыган». Одеты старики еще возятся с хозяйством, но уже и без вбры в его прочности, сыновья же забросили землю совсем. Невестки тоже работают не у себя, а за рькой, — т. е. на чужей земле. Соответственно этому экономическому разложению обнаруживается повсюду, во всех других сторонах жизни, крушение прежнего деревенского уклада. Пьянство старика и Кирьяка, их пустомышество и лень вместо «благотворного отношения к земледельческому труду», разгул солдатской жены Оеклы, несходящие сны на тель Марьи, ненависть обоих баб к своим мужьям, как образцы семейных нравов, — таковы черты современной деревенской семьи полупролетарского типа. В этой же семье: лживый, плутоватый старик, пьяный Кирьяк, забитая Марья и «гулашная» Оекла, все они, чувствую какую-то разлбность, неустойчивость, потерю связи с прежними устоями жизни, все тяготеет своей бессмысленной, тяжелой возней. Николай сообразил, что напрасно приехал к родным. Конечно, напрасно: разве лучше было ему умирать в такой обстановке? Но те, которые остались жить в Жуков, разве они не напрасно топчутся и мыкаются в своей сутолож? Что их то может удерживать в деревне? Их единственное удовольствие — пить чай и пустословить и то утрачено: староста Сыдельников отбирает самовар за недоимки. Все порвано, извращено, изломано. Там и вспоминаются слова Г. И. Ус-

пен.кого—великаго знатока пор(ф)орменной деревни: он) только легкое касаніе, буквально одно прикосновеніе,—и тысячекратныя постройки раздѣляются, какъ щепки. Семья Чкальдьевыхъ испытала, очевидно, это «прикосновеніе» новыхъ условій жизни,—и ея «постройка», весь ея хозяйственный и душевный складъ превратился въ щепки... Въ этомъ хаосѣ разбросанныхъ и разломанныхъ щепокъ только одна старая бабка сохранила очертанія чего-то прекраснаго. Цѣлые дни мечется она, какъ угорѣлая, въ своемъ убогомъ хозяйствѣ, тщетно стараясь свести концы съ концами, заныть на всѣхъ и на все, трепещетъ надъ каждымъ кускомъ сѣраго обрызганнаго сахара или селедочной головкой, сыплетъ горькими упреками и жалобами на лѣтъ и львство. «Но добычица!» то и дѣло сдѣлливо восклицаетъ она по адресу мужа и сыновей. Она еще все цѣпляется за хозяйство, все еще надѣется исправить какъ-нибудь разсѣянную дѣла своей экономіей, не понимая, что всѣ ея старанія безцѣльны и беспочвенны, такъ какъ главная брешь пробыта не въ какой-нибудь мелочи, а въ самомъ основаніи ихъ хозяйства.

И вотъ эта то злая и скупая старуха, эгоистъ «гений» чкальдьевской семьи (какъ выразился г. Мельниковъ) только одна и сохранила въ себѣ тѣ черты «стройнаго земледѣльческаго міросозерцанія», съ которыми познакомили насъ народники—классики, но въ ней поминутно уродливый, въ какой безобразной формѣ проявляется теперь это «міросозерцаніе»? *)

Прочтите, напримѣръ, сцену праздничнаго обѣда, когда старуха варитъ щи изъ селедочной головки, а самую селедку прачетъ, или ту сцену, когда (заканывая старуха бьетъ лотку Николая за то, что та не аккуратно выслушала возложенную на нее миссію—сѣдѣть за гусемъ или сцену, гдѣ обожженная «озорница» — приказчица гулящая Оскла начинаетъ вдругъ ночью ни съ того, ни съ сего, среди всеобщей тишины судорожно рыдать... Все это сцены, исполненные глубокаго драматизма и нарисованныя по истинѣ художественной кистью.

Но при всемъ томъ, разсказъ г. Чехова все таки носитъ характеръ не вполне цѣльнаго произведенія: это скорѣе рядъ художе-

ственно исполненныхъ сценъ и толико. Бывъ онъ удивительно мѣло, какъ ни тонко схвачены типическія черты деревенскаго обывателя, какъ ни правдиво нарисованы ихъ лица, положенія, жесты,—мы все таки не въ состояніи представить себѣ во всей полнотѣ той связи, которая соединяетъ эту жизнь съ жизнью всего нашего общества. Каждое слово, исходящее изъ устъ чеховскихъ героевъ, каждая сцена вызываетъ въ насъ вопросы оиной другой важнѣе и глубче, но не ещѣе ихъ рѣшенія у г. Чехова. Его дѣло сдѣлано. Онъ попалъ въ деревню, поймавъ въ одну изъ «нуля цѣлыхъ», затѣмъ въ другой, третьей такой же, посмотрѣвъ своимъ зоркимъ художественнымъ окомъ на разыгрывающіяся въ нихъ ежедневныя драмы и принялся рисовать, не задаваясь вопросами: откуда, почему и т. п.

Не такъ поступалъ бы художникъ—соціологъ—если можно такъ выразиться. Тотъ не ограничился бы изученіемъ одного типа чкальдьевскихъ семей, нѣтъ, онъ съ такою же тщательностью постарался бы ознакомиться съ жизнью и тѣхъ семей, у которыхъ, по вскользь бросенному замѣчанію г. Чехова—«избы съ желѣзными крышами», онъ перенесся бы потомъ и къ куцу, у котораго служилъ въ сторожахъ Кирыкъ, оттуда въ «Славянскій Базаръ», потомъ въ барскій домъ, откуда пріѣзжалъ на пожаръ студентъ «Журжъ» съ двумя барышнями, погрузился бы въ изученіе безчисленныхъ и подчасъ еле замѣтныхъ нитей, связующихъ всѣ эти разнородные общественные типы и элементы,—и только тогда бы развернулъ своей холстѣ и, взявшись за кисть, возсоздалъ бы весь изученный имъ механизмъ.

Конечно, тогда получался бы большой романъ или вѣчто подобное, но за то и картина была бы полна безъ недоговоренностей и неясностей; тогда нельзя было бы предположить въ характеристикѣ чкальдьевской семьи ничего случайнаго, нельзя было бы говорить о сгущеніи красокъ и т. д.

Мы не думаемъ, чтобы читатель могъ принять наши слова за порицаніе г. Чехову. Нѣтъ, мы хорошо знаемъ, что судить слѣдуетъ не за то, чего хотѣлось бы имѣть, а за то, что уже дано авторомъ, а г. Чеховъ далъ своимъ «Мужикамъ» и безъ того очень многое. Онъ единственный послѣ народниковъ—классиковъ изъ всѣхъ современныхъ беллетристовъ занялся правдивой характеристикой деревни и далъ намъ превосходную, живо написанную картину разлагающейся семьи деревенскихъ полупролетаріевъ, не затенивъ и не закрывая ее никакими вымышленными или тенденціозными чертами, картину, которая смѣло можетъ стать рядомъ съ лучшими произведеніями Г. И. Успенскаго и Н. Н. Златовратскаго.

В П—въ.

*) Широта міросозерцанія и интересовъ старой бабки напомнила намъ характеристику деревенской жизни, данную Г. И. Успенскимъ въ слѣдующихъ словахъ: «Мелкая, утомительная, копѣчная хлопота и возня съ своимъ дворникомъ, съ долежью землей, лугомъ, доведенная, ксатя сказать, до художественнаго совершенства и правильности... сузила и какъ бы даже задушила крестьянскій мозгъ на копѣйкѣ сребромъ, приковала ее вѣрнѣе-навѣрнѣе къ каждой тряпкѣ, въ каждому дыривому лантю, такъ какъ надъ правильностью распредѣленій этихъ тряпокъ и лантей между членами деревенскаго общества—весь запасъ свободнаго крестьянскаго мышленія... Глядя на эту сухую, микроскопическую возню крестьянскаго ума надъ участіемъ каждой собственной и чужой шапки, можешь, правда, удивляться силѣ этого ума, удивительной логичности и послѣдовательности, но не можешь не видѣть, что эта логичность—мышинная, крошечная, направленная на ничтожныя, поминутныя грошевыя цѣли».